ВОЛЧАРА ИЗ БУДУЩЕГО

ПЕРВАЯ КРОВЬ



Александр Фрост

Книга №1

Александр Фрост

Волчара из будущего. Первая кровь

«Автор»
2026

Фрост А.

Волчара из будущего. Первая кровь / А. Фрост — «Автор», 2026

Хабаровск, 1937 год. Лейтенант угрозыска Михаил Волченко только начинает службу в городе, где за тишиной повседневности скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.Пропавшие без вести, закрытые дела, странные совпадения. Чем глубже Волченко погружается в работу, тем сильнее ощущение, что кто-то очень умело заметает следы.Атмосферный исторический детектив о Хабаровске эпохи Большого террора, о цене правды и о том, как далеко может зайти человек, который отказывается смотреть сквозь пальцы.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 10
Глава 3 15
Глава 4 21
Глава 5 26
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Александр Фрост
Волчара из будущего. Первая кровь

Глава 1

Папка не закрывалась.

Волков впихнул её в ящик — картон разбух от бесконечного перелистывания, замок не защёлкивался. Вытащил обратно. Положил на стол. Провёл ладонью по обложке, на которой шариковой ручкой было выведено: «Личное. Сводка. Не регистрировать».

Внутри — фотографии. Копии копий, мутноватые, снятые через запотевшее стекло времени. Волков давно не нуждался в снимках — лица стояли перед глазами без подсказок, в любое время суток, в любой последовательности.

Наталья Сомова. Тридцать два года. Хабаровск. Лесополоса у объездной, январь двенадцатого. Ирина Лещенко. Двадцать восемь. Комсомольск-на-Амуре, осень четырнадцатого. Тамара Гудкова. Сорок один. Биробиджан. Виктория Пак. Двадцать четыре. Амурск.

И дальше — ещё три имени, те же города по второму кругу, три тела в местах, куда живые люди не заглядывают.

Семь женщин. Четыре города. Двенадцать лет.

Он разложил снимки веером по столу. Рядом — общая тетрадь, исписанная его почерком. Не протоколы, не рапорты. Записная книжка, в которую он три года заносил всё, что не ложилось в официальные бумаги. На первой странице — список. Семь фамилий столбиком, напротив каждой — даты, города, обстоятельства обнаружения тел. На второй — карта. Грубая, нарисованная от руки, с кружками и стрелками. На третьей — профиль. Тот, который он составил сам, без криминалистов-профайлеров, потому что официально никакой серии не существовало, а значит, и профиль заказывать было не на что.

Все жертвы — одинокие, приезжие, без близких или с роднёй, которая давно перестала звонить. Все найдены за городом: лесополосы, обочины, заброшенные дачные посёлки. Характер повреждений... Волков сложил фотографии обратно в стопку и аккуратно выровнял края. Характер повреждений повторялся. Не в деталях — экспертизы делали разные специалисты, описывали по-разному, каждый со своими привычками и терминами. Но логика — одна. Последовательность действий убийцы. Волков видел её, как видят рисунок в шуме — стоит разглядеть один раз, и уже невозможно развидеть.

Но доказать — другое дело. Он положил поверх снимков листок, на котором месяц назад набросал список совпадений. Порез на левом запястье жертвы. Неглубокий, сделанный до основных повреждений. Контрольный — убийца проверял реакцию. Или пробовал лезвие. У Сомовой, у Лещенко, у Черных. Три из семи. У остальных четырёх эксперты могли не зафиксировать — списали на посмертные, не придали значения. Районный эксперт в Амурске — это фельдшер с двухнедельными курсами, а не специалист из Москвы.

Три совпадения из семи. Ему хватало. Суду — нет. Генералу — тем более.

Главная проблема была не в доказательствах. Семь следователей из разных отделов в четырёх городах вели семь отдельных дел. Каждый варился в своей кастрюле. Тут — висяк без свидетелей. Там — подозревали бродягу, не подтвердилось. Здесь — сосед по общежитию, алиби из железа. Семь папок на семи полках, и ни один следователь не поставил свою рядом с соседской.

Волков поставил. Три года назад запросил все шесть, что были тогда, — прокурор Хабаровского края имеет право, и он этим правом воспользовался без колебаний. Разложил на столе, повесил карту на стену, вколол кнопки по городам, натянул нитки. Жена Лариса зашла

вечером, постояла в дверях, сказала: «Ты как маньяк из кино». Развернулась и ушла варить борщ.

Через полгода ушла насовсем. Но не из-за карты и не из-за кнопок. Из-за того, что карта была интереснее борща. И Волков ни разу не попытался это опровергнуть.

Профиль, который он составил, занимал третью страницу тетради. Мужчина. Тридцать пять — шестьдесят. Образован — не гений, но выше среднего. Работа связана с разъездами по краю: командировки, проверки, маршруты. Социально адаптирован. Скорее всего женат или был женат. Не привлекает внимания. Может быть приятен в общении. Из тех, кого соседи описывают одинаково: «Тихий, вежливый, здоровался всегда». Из тех, кого не подозревают до самого конца.

Таких не ловят по горячим следам. Таких ловят, когда они ошибаются, — или когда кто-то выкладывает семь дел на один стол и замечает нитку. Этот не ошибался. А нитку заметил только Волков, и три года его за неё дёргали.

Телефон на столе дёрнулся, провернулся на полоборота от вибрации. Экран — белый свет в полутёмном кабинете. Дочь. Ксения. Волков посмотрел на экран — «Ксюша, дочь» — и убрал палец с кнопки ответа. Отклонил. Завтра. Она поймёт.

Он поднялся. Спина хрустнула — привычно, между лопатками и в пояснице. Пятьдесят пять лет. Тридцать из них — в прокуратуре. Начинал в посёлке, где асфальт заканчивался за сельским клубом, а ближайшая экспертная лаборатория находилась в ста двадцати километрах на рейсовом автобусе, который ходил три раза в неделю. Отец — слесарь пятого разряда на судоремонтном. Мать — продавщица в универмаге, отдел тканей. Юрфак он окончил на одном упрямстве, без связей и без денег, и на выпускном банкете, куда пришёл в единственном костюме, декан пожал ему руку и сказал: «Далеко пойдёшь, Волков. Вопрос — куда».

Дошёл до прокурора края. Дальше — не захотел. В Москву не поехал, когда звали. Генеральскую должность не принял, когда предлагали. Остался здесь, на Дальнем Востоке, среди тайги, рек и людей, которых понимал без переводчика.

Позывной Волчара приклеился в девяностые. Молодые опера из убойного отдела наблюдали, как он вёл допрос подозреваемого по делу Хромова — серия разбойных нападений, четыре трупа, весь край на ушах. Допрос длился одиннадцать часов без перерыва. Хромов сломался на девятом. Один из оперов потом сказал в курилке: «Он не допрашивает — он глотку рвёт. Волчара, мать его». Застряло. Звали так за глаза, но Волков знал. И не возражал.

Кабинет прокуратуры в девять вечера — мёртвая зона. Две лампы из четырёх работали. Оставшиеся две мигали третий месяц, заявка на замену лежала у завхоза, и завхоз, судя по всему, использовал её как подставку под чай. На подоконнике — фикус, высохший до состояния гербария. Подарок секретарши Нины Васильевны ко Дню юриста позапрошлого года. Волков его не поливал. Не из забывчивости — из принципа: не любил живое в кабинетах.

Папку он убрал в сейф. Не в ящик — в сейф. Тетрадь — туда же.

Коридор гулял пустотой. Линолеум, стены цвета больничной тоски, портрет на стене у лестницы — стекло треснуло в углу, менять никто не собирался. Волков прошёл мимо дежурного поста. За стойкой — парень в мятой форме, с термосом и телефоном в руках.

— Михаил Александрович, уходите?

— Нет, Кузнецов, я мираж. Сигнализацию на втором проверь — мигает.

— Сделаю.

— Не «сделаю». Сейчас проверь.

— Есть.

Лестница. Широкая, гулкая, каждый шаг — эхо. Волков спускался и думал не о деле. О борще. Вчерашний борщ стоял в холодильнике: свёкла, капуста, картошка, кусок грудинки. Варить научился после развода — ютуб, три неудачных попытки, с четвёртой получилось нечто съедобное. Лариса готовила лучше. Лариса теперь жила с Геннадием Павловичем, стоматоло-

гом, в трёхкомнатной с балконом на набережную. Геннадий Павлович умел делать имплантаты и не умел допрашивать серийных убийц. Лариса выбрала имплантаты. Волков не винил.

Входная дверь — тяжёлая, стальная, с кодовым замком. Октябрь навалился мокрым холодом. Парковка — пять машин, три из них служебные. Камри Волкова стояла у крайнего фонаря, который горел через раз.

Сел. Ключ. Движок схватился со второго — аккумулятор просился на замену с августа. Печка загудела, из дефлекторов потянуло холодом, который медленно теплел. Волков положил руки на руль и посидел, глядя через лобовое на пустой двор прокуратуры.

Телефон мигнул в кармане. Сообщение от Ксении: «Пап, набери когда сможешь. Не горит». Не горит — значит, завтра. Она привыкла.

Двадцать минут до дома. В десять вечера пробок не бывает — город засыпал рано, особенно по будням. Волков ехал на автомате: проспект, светофоры, оранжевый ритм фонарей. Мимо кинотеатра «Гигант» — закрытого, с забитыми фанерой окнами, — мимо гостиницы «Интурист», мимо парка, где деревья стояли голые и чёрные, как обугленные спички.

Мысли вернулись. Всегда возвращались — как вода в колею.

Последняя жертва. Алёна Черных. Двадцать шесть лет. Из Читы. Горничная в «Интуристе». Комната у пенсионерки на Карла Маркса. Пропала в апреле после ночной смены — вышла из гостиницы в четыре утра, до дома семнадцать минут пешком, не дошла. Нашли через девять дней в лесу за Красной Речкой. Грибник наткнулся, вызвал полицию, блевал полчаса в кусты.

Следственный комитет отработал два месяца. Полторы сотни опрошенных. Камеры — ни одна не захватила нужный отрезок маршрута, два перекрёстка оставались слепыми зонами. Таксисты, ночные смены, водители мусоровозов — никто ничего. Дело легло на полку.

Волков забрал его в августе. Обложился экспертизами, сидел ночами, сопоставлял с шестью предыдущими. И вычитал то, чего местные не увидели, — или не захотели увидеть, потому что увидеть означало признать: убийца не случайный бродяга, а человек с системой.

Порез на левом запястье. До основных повреждений. Контрольный.

Тот же приём, что у Сомовой и Лещенко. Любой адвокат назвал бы это совпадением.

Генерал так и назвал.

«Михаил Александрович, — сказал генерал Дроздов месяц назад, откидываясь в кресле, — ты хочешь, чтобы я доложил наверх о серийном убийце на подведомственной территории? Ты понимаешь, что это значит? Москва приедет. Комиссия. Проверка. Три звезды полетят, и моя — первая. Дай мне что-нибудь, кроме порезов на запястьях, и я тебе дам группу из двенадцати человек».

Волков не дал. Пока.

Он свернул с проспекта. Район Южный — панельные девятиэтажки, стоящие шеренгой, как новобранцы на плацу. Ларьки. Тополя с обрубленными кронами — спилили весной, после того как ветка упала на детскую площадку. Его дом — третий от угла, третий подъезд, пятый этаж. Квартира, купленная после развода за два дня и обставленная за три: диван, стол, шкаф, телевизор, который он включал раз в неделю. Лариса, увидев фото, сказала Ксении: «Твой отец живёт как арестант на поселении». Волкова устраивало.

Лифт не работал вторую неделю. Он и работающим не пользовался — пять этажей пешком, единственная физическая нагрузка, если не считать допросов.

Припарковался во дворе. Заглушил двигатель. Посидел, положив руки на колени.

Мысль, которая грызла последний месяц: а если серия длиннее? Если первое убийство — не Сомова в двенадцатом? Если это тянется из девяностых? Из восьмидесятых? Другие города, другие следователи, которые так же вели свои дела вслепую, не зная о соседних. Если этому — десятилетия? Тогда жертв не семь. Тогда их — десятки.

Он тряхнул головой. Борщ. Душ. Четыре часа сна. Завтра — совещание у Дроздова.

Выбрался из машины. Воздух пах мокрой листвой и чуть-чуть — палёным: кто-то жёг мусор за гаражами. Нормальный запах нормального двора.

Домофон пискнул. Дверь подъезда тяжело подалась, скрипнула петлями. Лампочка на первом этаже не горела — третий раз за осень: то ли перегорела, то ли выкрутил кто-то из местных алкоголиков на закуску. Волков шагнул в темноту и привычно нашарил перила.

Три ступени.

Удар пришёл из-под лестницы — из мёртвого угла, который не просматривался ни от двери, ни сверху. Короткий, жёсткий, костяшками в скулу. Голова мотнулась, затылок впечатался в почтовые ящики, жесть загрохотала по стене.

Тело сработало раньше мысли. Волков ушёл вниз — присел, сгруппировался. Тридцать лет назад — бокс, секция при «Динамо», три года тренировок, потом бросил. Но руки помнят. Выбросил правую вслепую, кулак нашёл мягкое — живот или бок. Нападавший шумно выдохнул, отшатнулся на полшага.

Темнота — полная. Ни контура, ни силуэта. Только звуки: чужое дыхание — молодое, резкое, — шорох подошв по кафелю, скрежет чего-то металлического. И запах — пот, дешёвый табак, адреналин.

Волков перехватил чужое запястье. Тонкое, жилистое, крепкое. Парень. Двадцать пять — тридцать. Левша — бил с левой, Волков отметил машинально, как отмечал детали на допросах: автоматически, не думая.

Нож он не увидел — почувствовал. Лезвие вошло под рёбра слева, между курткой и ремнём, точно туда, где ткань натягивалась при наклоне. Не пьяная поножовщина — кто-то знал анатомию. Или тренировался.

Секунда — пустая, без ощущений. Холод — как от куска льда, приложенного к голой коже. Потом — жар. Волной, от рёбер к позвоночнику, и дальше — в ноги, в пальцы, в зубы.

Волков перехватил руку с ножом, попытался вывернуть кисть — но пальцы уже слабели, скользили по чужой коже. Ударил лбом — попал в переносицу. Хрящ хрустнул. Нападавший дёрнулся назад, выдернул руку. Нож ушёл — вместе с ним.

Три секунды тишины. Оба дышали.

— Не надо было копать, Волчара.

Голос молодой, хриплый. Местный говор — мягкие окончания, проглоченные гласные. Хабаровский.

— Не надо было.

Волков привалился к стене. Левый бок горел. Рука, прижатая к ране, стала мокрой и горячей. Кровь текла быстрее, чем он рассчитывал, — значит, задета не только мышца. Прокурорская привычка: оценивать повреждения тел. До сегодняшнего дня — всегда чужих.

Нападавший шагнул ближе. Дышал со свистом — сломанный нос мешал.

— Мой дед... — голос дрогнул, и Волков услышал в этой дрожи не страх — ярость. — Мой дед — ты бы до него никогда не добрался. Никогда. А теперь — точно не доберёшься.

Дед.

Волков вцепился в это слово, как тонущий — в кусок доски. Не отец — дед. Поколение. Если парню двадцать пять — тридцать, его дед — ровесник тридцатых. Или старше. Хабаровский край, местный говор, значит — отсюда, не приезжий. Если серия тянется от деда... если убийца — не один человек, а линия... дед, отец, внук...

Второй удар ножом — снизу, в бедро. Короткий, точный, деловитый. Нога подломилась. Волков сполз по стене, спина скребла по почтовым ящикам, кафель ударил в колени.

Он попытался крикнуть. Из горла вышел хрип — негромкий, бесполезный.

Нападавший стоял над ним. Дышал. Две секунды. Три. Потом — быстрые шаги к двери подъезда. Хлопок металла о металл. Тишина.

Волков лежал на кафельном полу первого этажа. Пол был холодный, а кровь — тёплая, и между ними — его тело, которое переставало слушаться от конечностей к центру, как будто кто-то выключал его по частям.

Лампочка на втором этаже мигала жёлтым. Единственный источник света во всём подъезде — тусклый, дёрганый, ненадёжный. Волков смотрел на неё и считал мигания. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнад...

Дед. Мой дед. Тридцатые годы. Дальний Восток. Хабаровский край. Линия: дед — отец — внук. Серия тянется оттуда, из корня, из начала.

Он знал, что умирает. Кровопотеря — дело минут, особенно если задета селезёнка. Или почечная артерия. Он не чувствовал боли — вместо неё было холодное удивление: вот, значит, как это. Тридцать лет он видел тела людей, которые прошли этот путь до конца. Теперь — сам.

Дверь подъезда грохнула.

— Батюшки! Люди! Скорую! Скорую вызовите, тут человек!

Соседка сверху. Тамара Петровна. Он узнал по голосу — высокому, с повизгиванием на согласных — и по цоканью когтей таксы по кафелю.

Волков шевелил губами. Мой дед, пытался сказать он. Тот, кто напал, — он сказал «мой дед». Тридцатые годы. Запишите. Кто-нибудь. Запишите, пока я...

Такса обнюхала его ботинок. Отступила на шаг и заскулила — тонко, по-щенячьи.

Тамара Петровна кричала в телефон. Адрес. Подъезд. Ножевое. Мужчина лет пятидесяти. Крови много.

Руки в латексных перчатках. Носилки. Тряска. Голоса — рваные, обрезанные, как плохая радиоволна.

— ...артериальное падает... второй доступ... грузим, быстрее... реанимацию, реанимацию готовьте...

Вой сирены. Далёкий, будто через толщу воды. Потом — всё дальше. Всё глуше.

Темнота.

Она вошла не сразу. Сначала — серое. Стены скорой, лица в масках, лампа над головой. Потом серое стало тёмно-серым, и лица размылись, и лампа превратилась в жёлтое пятно, как та лампочка на втором этаже, мигающая, ненадёжная.

Потом — ничего.

Темнота без стен, без пола, без потолка. Без времени. Без имени.

Где-то очень далеко — или очень близко, разницы уже не было — писк прибора. Ровный. Тонкий.

Глава 2

Руки были чужими.

Это первое, что он понял, — ещё до того, как открыл глаза. Пальцы, которыми он вцепился в край чего-то шершавого, были длиннее, тоньше и сильнее, чем его собственные. Ногти — коротко стриженные, без привычных заусенцев на большом пальце правой. Кожа — гладкая, без пигментных пятен, без шрама от сковородки на указательном, полученного в девяносто восьмом, когда он учился жарить яичницу для дочери.

Волков открыл глаза.

Потолок. Деревянный, некрашеный, с тёмными пятнами сырости и подтёками вдоль стыков досок. Покачивался — мерно, ритмично, слева направо. Стук — тяжёлый, металлический, с рваным ускорением на стыках рельсов. Запах — табак, пот, мокрая шерсть, машинное масло, что-то кислое и тёплое, человеческое.

Поезд. Он в поезде.

Волков сел рывком. Голова закружилась, перед глазами поплыло — и тут же прошло. Быстро, чисто. Тело послушалось мгновенно, пружиной, без привычного утреннего хруста в спине, без ноющей боли в пояснице, без тугих коленей, которые каждое утро требовали пяти минут расхаживания. Это тело было другим. Молодым. Его мышцы работали легко, бездумно, как хорошо смазанный механизм.

Плацкартный вагон. Верхняя полка, шерстяное одеяло, серое, казённое, подушка набита чем-то жёстким — конским волосом, судя по упругости. Напротив — ещё одна верхняя полка, на ней спал мужик лет сорока в нательной рубахе, рот открыт, бурые ноги в шерстяных носках торчали из-под одеяла. Внизу — пусто, полки разложены, белья нет. Между полками — откидной столик, на нём жестяная кружка, газета и половина варёного яйца на листе обёрточной бумаги.

Волков спустил ноги. Босые, молодые, с ровными ногтями — без варикозных вен, без плоскостопия, без вросшего ногтя на мизинце правой, который мучил его последние три года. Он пошевелил пальцами. Чужие пальцы послушались — охотно, будто обрадовались.

Паника пришла не сразу. Она поднималась откуда-то снизу, из живота, — тёплая, липкая, обволакивающая. Волков её задавил. Привычкой. Тридцать лет допросов, осмотров, экспертиз — тридцать лет он приучал себя не паниковать, а фиксировать.

Что вижу. Что слышу. Что знаю. Что не знаю.

Вижу: плацкартный вагон старого образца. Деревянные стенки, масляная краска, полки из некрашеных досок. Не современный. Не послевоенный. Довоенный.

Слышу: стук колёс, храп мужика напротив, далёкий разговор — женский голос, смех, звяканье ложки о стеклянный стакан в подстаканнике.

Знаю: я — не я. Это не моё тело. Мне пятьдесят пять, а этим рукам — двадцать пять.

Не знаю: всё остальное.

Волков подобрал с пола ботинки. Грубые, кожаные, тяжёлые, на шнуровке. Военного покроя, но не армейские — милицейские. Сунул ноги, не завязывая. Встал. Вагон качнулся, он ухватился за стойку полки — мышцы плеча напряглись под рубахой легко, упруго, как у кота, которого взяли за шкирку. Молодое тело.

Сортир. Ему нужен сортир. Не по нужде — ему нужно зеркало.

Он прошёл по вагону, стараясь не шуметь. Четыре часа утра — по темноте за окном, по тишине, по тому, как спали люди. Плотно. Мужики в рубахах, женщины в платках, двое красноармейцев на нижних полках — один обнимал винтовку, как невесту. Ребёнок на руках у матери причмокивал во сне. Никто не проснулся.

Сортир — в конце вагона. Дверь на задвижке. Жестяная раковина, капающий кран, пятно ржавчины у слива. Зеркало — мутное, с чёрными точками по краям, где амальгама отошла.

Волков посмотрел.

Чужое лицо.

Молодое — двадцать пять, может, чуть больше. Скуластое, худое, с острым подбородком и серыми глазами, которые смотрели на него с выражением, которое он сам не мог определить. Стриженый коротко, почти под ноль — как стригут курсантов. Нос прямой, тонкий. Шрам на левой брови — мелкий, старый, детский: упал с дерева или подрался.

Ни одной знакомой черты. Вообще ни одной.

Волков стоял, упершись руками в раковину, и смотрел на человека в зеркале. Человек смотрел на него. Руки — чужие, молодые, с белыми костяшками от того, как вцепились в жестяной край, — дрожали.

Он заставил их остановиться. Сжал кулаки. Разжал. Сжал. Дыхание — медленно, глубоко. Как перед допросом, когда по ту сторону стола сидит человек, который убил троих, и будет молчать, пока ты не найдёшь трещину.

Факты. Только факты.

Он полез по карманам. Брюки — грубая ткань, военного покроя, ремень — кожаный, с медной пряжкой. Левый карман — пусто. Правый — сложенный вчетверо лист бумаги. Нагрудный карман рубахи — удостоверение. Красная обложка, потёртая, с тиснёным гербом.

Удостоверение открыл первым.

Волченко Михаил Андреевич. Лейтенант милиции. Фотография — то же лицо, что в зеркале. Печать, подпись. Место выдачи — Иркутская межкраевая школа рабоче-крестьянской милиции.

Лист бумаги — предписание. Машинопись на папиросной бумаге, лиловая печать, подпись — неразборчивая закорючка. «Направляется в распоряжение Управления рабоче-крестьянской милиции НКВД по Хабаровскому краю для прохождения службы. Отдел уголовного розыска.»

Дата. Он искал дату. Нашёл — внизу, рядом с печатью.

Сентябрь 1937 года.

Перечитал. Ещё раз. Ещё.

Тысяча. Девятьсот. Тридцать. Седьмой.

Волков опустил крышку унитаза и сел. Жестяная, холодная через ткань брюк. Поезд стучал колёсами, за маленьким окошком проплывала тайга — густая, чёрная, непроглядная.

Тридцать седьмой год. Большой террор. Ежовщина. Тройки НКВД. Расстрельные списки, которые подписывали пачками — тридцать фамилий на листе, резолюция «расстрелять», подпись, следующий лист. Год, когда слово «враг народа» означало пулю в затылок или десять лет без права переписки — что тоже означало пулю.

Он знал этот год. Из учебников, из архивов, из дел реабилитации, которые прокуратура пересматривала в девяностые. Из рассказов стариков, которые помнили и не хотели помнить. Из сухих строчек протоколов: «Признал себя виновным. Приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведён в исполнение.» На всё — сутки. Иногда — меньше.

И он — здесь. В этом году. В чужом теле. С чужим именем.

Волков — Волченко. Волк — волчонок. Михаил — Михаил.

Он хмыкнул. Без улыбки, без веселья — рефлекс. Радуйся, Михаил Александрович. Хоть к имени привыкать не придётся.

Мысли встали в строй — привычные, аналитические, прокурорские.

Первое. Он в теле лейтенанта Волченко. Молодой, только из школы, едет на первое назначение. Его в Хабаровске никто не знает. Чистый лист. Это хорошо — некому сравнивать.

Второе. Его собственное тело — в коме, в реанимации, где-то в 2024 году. С ножевыми и прогнозом, который не обсуждают при дочери. Факт. Не чувство.

Третье. Как вернуться — неизвестно. Возможно ли — неизвестно. Работать с тем, что есть.

Четвёртое. Если он начнёт рассказывать людям, что он прокурор из будущего, его не в психушку отправят — его расстреляют. Шпион. Диверсант. Враг народа. В тридцать седьмом расстреливали за меньшее. За анекдот расстреливали.

Значит — молчать. Играть. Быть лейтенантом Волченко. Простым, молодым, неопытным. Закрыть рот на замок и притворяться, что тридцать лет опыта — не существует.

Он поднялся. Посмотрел в зеркало. Молодое лицо, серые глаза, стриженый затылок.

— Лейтенант Волченко, — сказал он тихо. Голос — чужой. Ниже, чем его собственный, с лёгкой хрипотцой. — Михаил Андреевич. Двадцать пять лет. Иркутская школа милиции. Первое назначение.

Звучало как легенда. Потому что это и была легенда.

Он вернулся на своё место. Мужик напротив проснулся — сел, почесал грудь через рубаху, зевнул так, что блеснули стальные коронки на дальних зубах. Глянул мутным глазом.

— Чего не спишь, служивый?

— Рано проснулся.

— Оно и понятно, молодому-то не спится. Далеко едешь?

— Хабаровск.

— У-у-у, — мужик протянул уважительно. — Город. Я — до Бирского. Лес валим. Ты по милицейской части?

— Угрозыск.

— А. — Мужик помолчал, повертел в пальцах кисет. — Ну, дело нужное. Бандитов у нас хватает. Особенно по тайге — хунхузы ещё шалят, японцы опять же. А ты, гляжу, из Иркутска? Школу кончил?

— Школу.

— Молодец. Грамотные нужны. А то прислали к нам в Бирское участкового — парень деревенский, двух слов связать не может. Протокол пишет — курица лапой и то ровнее. — Мужик засмеялся, закашлялся, сплюнул в тряпку. — Ладно, пойду чайку попрошу у проводника. Хочешь?

— Спасибо, не надо.

Мужик слез, зашлёпал шерстяными носками по проходу. Волков сидел и переваривал. Первый разговор. Первый экзамен. Прошёл. Мужик ничего не заметил — ни в лице, ни в голосе, ни в словах. Молодой лейтенант едет на службу. Нормально. Обычно.

Он взял газету со столика.

«Тихоокеанская звезда». Одиннадцатое сентября 1937 года. Передовица — о бдительности на транспорте. Заметка: «Разоблачена группа вредителей-троцкистов на Комсомольском судостроительном заводе. Арестовано 14 человек». Внизу — «Подписывайтесь на заём укрепления обороны СССР».

Газета пахла типографской краской. Вчерашняя, краевая, хабаровская. Не музейный экспонат — номер, который кто-то купил на станции, прочёл и бросил на столике.

Волков перевернул страницу. Заметка о стахановце-лесорубе, который перевыполнил план на триста процентов. Фельетон о бюрократе, который тормозит стройку. Объявление: «Рабочие и работницы! Разоблачайте врагов народа в ваших рядах!» Всё это он видел раньше — в архивах, на пожелтевших ксерокопиях, за стеклом в музейных витринах. Теперь это лежало на откидном столике рядом с половинкой яйца, и краска пачкала пальцы.

Снизу раздались голоса. Две женщины — одна молодая, другая постарше — пили чай и разговаривали вполголоса. Волков прислушался.

— ...а Петровых-то забрали. Обоих. Прямо ночью, в машину и — всё.

— Тише ты! — зашипела вторая. — Рот закрой. Мало ли кто слышит.

Молодая замолчала. Потом — ещё тише, одними губами:

— Говорят, донос написали. Из-за комнаты.

— Я сказала — молчи.

Обе замолчали. Ложка звякнула о стакан. Тишина.

Волков лежал и смотрел в потолок. Тридцать семь лет он читал о тридцать седьмом. Теперь он слышал его — в этом шёпоте, в этом «тише ты», в этом страхе, от которого голос пропадает на полуслове.

Поезд шёл на восток. За окном — тайга. Бесконечная, тёмная, сплошная стена. Берёзы с жёлтыми кронами, ели, лиственницы. Реки — мутные, широкие, с песчаными отмелями. Полустанки: деревянный барак, баба с ведром на перроне, собака у путей, мальчишка бежит за вагоном.

Волков ел то, что нашлось в вещмешке Волченко: хлеб — тёмный, тяжёлый, с привкусом ржаной закваски, — кусок сала, просоленного до каменного состояния, три варёных яйца, завёрнутых в обрывок «Восточно-Сибирской правды». Хлеб он отламывал руками — ножа в мешке не было. Сало жевал долго, привыкая к вкусу, от которого его желудок, воспитанный на суши-барах и доставке, должен был восстать. Не восстал. Тело Волченко знало эту еду. Желудок принял всё без возражений — сытый, довольный.

К полудню тайга стала реже. Посёлки — деревянные дома, огороды за покосившимися заборами, дым из труб. Бабы развешивали бельё. Мужик в телогрейке колол дрова у крыльца. Лошадь, запряжённая в телегу, стояла у колодца и пила из ведра.

Потом слева открылся Амур.

Волков прижался лбом к стеклу. Он видел этот Амур тысячу раз — из окна кабинета, с набережной, с моста. Но тот Амур был другим: бетонные берега, прогулочные катера, рекламные щиты на набережной. Этот — дикий. Мутная вода несла брёвна, ветки, обрывки чего-то. Баржи шли медленно, тяжело, чёрные от копоти. Рыбацкие лодки жались к берегу.

Хабаровск открылся с холмов. Деревянный, дымный, с редкими каменными зданиями, которые торчали над серой застройкой. Вокзал — тот же, что и в его время, тот же фасад, те же арки, — но без стеклянной пристройки, без парковки, без электронного табло. Площадь перед ним — грунтовая, утоптанная, в лужах. Грузовики-полуторки, подводы, толпа.

Волков спрыгнул с подножки на перрон. Воздух ударил в лицо — свежий, холодный, пахнущий рекой, дымом, хвоей. Сентябрь. Хабаровск. Тысяча девятьсот тридцать седьмой год.

Перрон кишел людьми. Красноармейцы строем, военный с портфелем, бабы с мешками, мужики в кепках и косоворотках, носильщики с тележками, беспризорник лет десяти — шныряет между ног, высматривает карманы. Репродуктор на столбе хрипел: «...трудовой героизм... перевыполнение плана... бдительность — главное оружие советского гражданина...»

Он шёл через толпу и впитывал. Запах махорки — густой, едкий, не как сигаретный дым. Звук — не автомобилей, а копыт по мостовой. Цвет — серый, коричневый, хаки. Ни одной яркой вещи, ни одной вывески с подсветкой.

Улица Карла Маркса — без асфальта, деревянные тротуары из досок, двухэтажные дома с облупленными фасадами. Водовоз в телеге — бочка на колёсах, лошадь тянет неохотно, мужик дремлет, вожжи обмотаны вокруг кулака. Мальчишки — босые, в коротких штанах — гоняют жестяную банку по обочине. Баба торгует семечками из корзины, стакан — две копейки. Вывеска на стене: «Артель «Красный пищевик». Хлеб. Баранки. Пряники.» Буквы — по трафарету, красной краской, неровные.

Серышева — булыжник, редкие полуторки, извозчик с заморенной кобылой. Прогрохотал автобус — тупорылый, облупленный, с подножкой, на которой висели пассажиры. Шофёр давил на клаксон. На углу — милиционер в синей гимнастёрке, свисток в зубах.

Здание управления РКМ на Ленина, двенадцать — кирпичное, двухэтажное, с деревянным крыльцом и красным флагом. Часовой у входа. Доска объявлений, портрет Сталина за стеклом, плакат с указующим пальцем: «Враг не дремлет!»

Волков — нет, Волченко, теперь только Волченко — поднялся по ступеням.

За дверью, в полутёмном коридоре, стоял человек в форме НКВД. Подтянутый, аккуратный, в отглаженной гимнастёрке. Лет тридцать восемь, может, сорок. Спокойное лицо. Петлицы капитана государственной безопасности.

Он посмотрел на Волченко. Без интереса, без любопытства — как смотрят на мебель, которую несут мимо. Глаза — светлые, почти прозрачные. Спокойные. Ничего лишнего в лице — ни раздражения, ни доброжелательности. Профессиональная пустота.

— Документы.

Волченко достал удостоверение. Капитан раскрыл, прочитал — не быстро, внимательно, строчку за строчкой. Сверил фотографию с лицом. Сравнил. Закрыл. Вернул.

— Распределительная комиссия — завтра, в девять ноль-ноль. Второй этаж, кабинет шесть.

Капитан достал из кармана блокнот. Записал что-то — карандашом, мелким ровным почерком. Убрал.

— Ночевать — общежитие на Серышева, третий корпус. Койка будет. Дежурный знает.

Пауза. Капитан уже смотрел мимо, в глубину коридора, но прежде чем уйти, добавил:

— Опоздание на комиссию — рапорт. Нетрезвый вид — рапорт. Вопросы?

— Никак нет.

— Свободен.

Волченко вышел на крыльцо. Сел на ступеньку. Вещмешок — на колени.

Капитан государственной безопасности. По табели о рангах — это как армейский полковник. Человек, который может взять любого в этом городе за шкирку и бросить в подвал. И он запомнил фамилию Волченко — записал в блокнот. Аккуратно, карандашом. Привычка, от которой холодело в животе.

Город лежал перед ним — чужой, деревянный, низкий. Солнце садилось за сопки, тени ложились длинными полосами по улице. Где-то хлопнула дверь. Залаяла собака. Пахло печным дымом — топили уже, хоть ещё сентябрь. Дальневосточный сентябрь. Волков помнил: здесь заморозки начинаются рано, в октябре уже минус.

Где-то в этом городе жил человек, который убивал женщин. Или ещё не начинал. Или уже начал, и тела лежали в лесополосах, не найденные, не опознанные, не оплаканные. Через восемьдесят лет его внук воткнёт нож Волкову под рёбра в тёмном подъезде. Если, конечно, ниточка «мой дед» вообще куда-то вела, а не была бредом умирающего.

Он достал из мешка папиросу. «Беломорканал» — мятая пачка с картой на обложке. Прикурил от спички. Табак — крепкий, горький, продрал горло до самых лёгких. Это тело умело курить. Привычка прежнего хозяина, не его.

Руки не дрожали. Уже нет.

Завтра — комиссия.

Глава 3

Койка пахла хлоркой и чужим потом.

Волченко лежал с открытыми глазами и считал трещины на потолке. Семнадцать. Одна — длинная, от стены до лампочки, — похожа на реку на карте. Остальные — мелкие, паутинные, расходятся от углов. Штукатурка пузырилась и готовилась отвалиться.

Общежитие на Серышева — барак, перегороженный фанерными стенками. Комната на двоих: две железные кровати, тумбочка, табуретка, гвоздь в стене вместо вешалки. Сосед — Рябов, из прокуратуры, — заявился за полночь, буркнул «здорово» и захрапел. За фанерой храпели ещё в три голоса: молодые лейтенанты, приехавшие по распределению.

Волченко не спал. Тело молодое, выносливое — не жаловалось. Голова работала.

Он готовился к экзамену. Самому важному.

Распределительная комиссия — это не формальность. Это люди, которые будут смотреть ему в глаза и задавать вопросы. Битые, прожжённые — в органах тридцать седьмого дураков не держали. Дураков расстреливали вместе с умными, но до расстрела — работали.

Что знает выпускник Иркутской школы милиции, 1937 года выпуска?

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года. Уголовно-процессуальный кодекс. Основы криминалистики — примитивные по меркам его времени. Дактилоскопия — снятие отпечатков, классификация по Гальтону-Генри. Фотографирование по методу Бертильона. Осмотр места происшествия. Составление протокола — от руки, пером, с печатью. Допрос — без диктофона, без видеозаписи, каждое слово писать. Оперативная работа — агентура, наблюдение, засады.

Что знает прокурор Волков, 2024 года?

Всё остальное. ДНК-анализ, цифровую криминалистику, профайлинг, компьютерные базы, анализ паттернов поведения, географическое профилирование. Всё, что в тридцать седьмом не существовало.

Задача: притвориться, что он знает первое и не знает второго. Играть выпускника — средненького, непримечательного. Не самого умного, но и не тупого. Серую мышь, которую забудут через пять минут после выхода из кабинета.

Он встал в шесть. Умылся ледяной водой — рукомойник в коридоре, жестяной, с гремучим носиком. Побрился опасной бритвой, которую нашёл в вещмешке Волченко, — лезвие тупое, мыло хозяйственное, скребло по коже как наждак. Порезался дважды. Прижёг одеколоном — дешёвым, едким, от которого глаза слезились.

Форма — в мешке, свёрнутая. Гимнастёрка, бриджи, ремень, фуражка. Он оделся, застегнулся, подтянул ремень. Посмотрел в осколок зеркала, прибитый к стене над рукомойником.

Лейтенант милиции. Молодой, подтянутый, с порезом на подбородке. Серые глаза, стриженый затылок, петлицы. Нормально. Обычно. Один из сотни.

На крыльце общежития стоял парень его возраста — круглолицый, с рыжими бровями, в такой же форме. Курил, переминался с ноги на ногу.

— Тоже на комиссию? — спросил он, не дожидаясь приветствия.

— Да.

— Морозов. Виктор. Из Новосибирской школы. Ты откуда?

— Волченко. Иркутская.

— У-у. Говорят, у вас Кравченко криминалистику читал. Строгий?

Волченко не знал, кто такой Кравченко. Но выпускник школы — знал бы.

— Строгий, — кивнул он. — Гонял нас.

— Наш Белкин тоже зверь был. На зачёте половину группы завалил. — Морозов затянулся, выпустил дым. — Слушай, а ты куда хочешь? В угрозыск или в ОБХСС?

— Угрозыск.

— Я тоже. Говорят, тут бандитов хватает. Хунхузы, контрабандисты. И японцы рядом. — Морозов понизил голос. — А ещё говорят, в комиссии сидит сам Ларионов. Знаешь кто это?

— Нет.

— Замначальника краевого управления милиции. Весь угрозыск под ним. Мужик серьёзный. Говорят, он по глазам видит — годишься ты или нет. — Морозов докурил, бросил окурок, затоптал. — Ладно, пошли. Опаздывать нельзя.

Здание на Ленина — то же, что вчера. Крыльцо, часовой, красный флаг. Но утром оно выглядело иначе — люднее, шумнее. По коридорам ходили люди в форме, хлопали двери, стучала пишущая машинка. Пахло табаком, сургучом и мокрыми сапогами.

Кабинет шесть — второй этаж, дверь, обитая коричневым дерматином. В коридоре перед ней — пять человек. Все молодые, все в форме, все одинаково напряжённые. Морозов пристроился к стенке и замолчал. Волченко встал рядом.

Ждали.

Из кабинета выходили по одному — бледные, с красными ушами. Один, совсем молодой, с пушком вместо усов, вышел и прислонился к стене.

— Ну что? — шёпотом спросил Морозов.

— Нормально. Вроде. Ларионов спросил про Уголовный кодекс, статью сто тридцать шесть. Я ответил. Потом — про осмотр места происшествия. Тоже ответил. Потом спросил зачем я в милицию пошёл. Я сказал — бороться с преступностью. Он посмотрел так… — Парень сглотнул. — Не знаю, взяли или нет.

— Волченко! — рявкнул голос из кабинета.

Волченко вошёл.

Длинный стол, покрытый зелёным сукном. За ним — четверо. Волченко считал их, как считал подсудимых: по лицам, по рукам, по тому, как сидят.

Первый — в центре, грузный, лет пятидесяти, с бритой головой и тяжёлым взглядом. Петлицы майора милиции. Ларионов. Замначальника управления. Руки на столе — широкие, с узловатыми пальцами, правая постукивает карандашом.

Второй — худой, в очках, гражданский пиджак, лысина прикрыта зачёсом. Кадровик, скорее всего. Перед ним — папка с бумагами.

Третий — капитан госбезопасности, тот самый, из вчерашнего коридора. Сидел чуть в стороне, откинувшись на спинку стула. Блокнот на колене. Карандаш в пальцах — не пишет, крутит. Смотрит. Слушает.

Четвёртый — политрук. Петлицы, звёздочка на рукаве. Молодой, лет тридцати, с острыми скулами и глазами, которые оценивали каждого быстро и окончательно.

— Садитесь, — сказал Ларионов.

Стул перед столом — деревянный, жёсткий. Волченко сел. Спину держал прямо, руки — на коленях. Не расслабленно, не напряжённо. Курсант на экзамене. Обычный, нервничающий, старательный.

Ларионов полистал бумаги.

— Волченко Михаил Андреевич. Двадцать пять лет. Иркутская школа, выпуск тридцать седьмого. Специализация — уголовный розыск. Характеристика… — он прищурился, — положительная. Дисциплинирован, успеваемость средняя, замечаний нет. Так?

— Так точно.

— Средняя, — повторил Ларионов с нажимом. Карандаш стукнул по столу. — Не отличник.

— Никак нет.

— Почему?

Волченко чуть помедлил. Ровно столько, сколько помедлил бы настоящий выпускник, который не ждал такого вопроса.

— Теория давалась труднее, чем практика, товарищ майор. На стрельбах и на практических занятиях — отлично. По кодексам — четвёрки.

Ларионов кивнул. Не одобрительно, не неодобрительно. Принял к сведению.

— Статья сто тридцать шесть Уголовного кодекса. Содержание.

— Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Лишение свободы на срок до десяти лет.

— Какие обстоятельства?

— Корыстные побуждения, ревность, если убийство совершено лицом, ранее судимым за убийство, если…

— Достаточно. Сто тридцать седьмая?

— Умышленное убийство без отягчающих. До восьми лет.

Ларионов повернулся к кадровику. Тот что-то черкнул в блокноте.

— Осмотр места происшествия. Порядок действий.

— Оцепление. Осмотр подходов. Фиксация обстановки — фотографирование, описание. Поиск следов — отпечатки, следы обуви, волосы, волокна. Изъятие вещественных доказательств с составлением протокола. Опрос свидетелей.

Ларионов слушал, подперев подбородок кулаком. Волченко отвечал механически — отвечал то, что должен был знать выпускник школы. Базовые вещи, учебник, первый курс. Ни слова лишнего.

— Методы дактилоскопии, — подал голос кадровик.

— Порошковый метод. Нанесение на гладкую поверхность для выявления латентных следов. Сравнение с картотекой по системе Гальтона-Генри. Классификация по типам узоров — петлевые, дуговые, завитковые.

Кадровик кивнул. Волченко видел — доволен. Чётко, по учебнику, без заминок.

Политрук подался вперёд.

— Волченко, вы член ВКП(б)?

— Нет, товарищ политрук. Кандидат.

— Давно?

— С ноября прошлого года.

— Комсомольский стаж?

— Семь лет.

— Почему пошли в милицию?

Волченко смотрел на политрука. Вопрос с подвохом — любой ответ мог быть неправильным. «Бороться с преступностью» — пустая фраза, на которой парень с пушком только что погорел. Нужно что-то конкретное.

— Отец работал на железной дороге. Путевой обходчик. У них на участке убили сторожа — ограбили и зарезали. Милиция нашла бандита за два дня. Мне было двенадцать. Запомнил.

Тишина. Политрук откинулся назад. Удовлетворён. История простая и правильная — рабочая семья, детское впечатление, осознанный выбор. Неважно, правда это или нет. Важно, что звучит как правда.

Кем был отец настоящего Волченко — обходчиком, сапожником или вовсе неизвестно кем, — он понятия не имел. Он говорил то, что должен был сказать. Легенду.

Ларионов переглянулся с кадровиком.

— Вопросов больше нет. — Пауза, взгляд вбок. — Или у вас есть, товарищ Корнеев?

Корнеев поднял голову от блокнота.

— Один вопрос.

Голос — ровный, без напряжения. Как у человека, который спрашивает из вежливости, не из интереса. Волченко посмотрел на него. Светлые глаза, спокойное лицо, карандаш между

пальцами. Капитан госбезопасности — человек, от которого в этом кабинете зависело больше, чем от всех остальных вместе взятых.

— Волченко, вы приехали работать в угрозыск. Предположим, вас направляют на убийство. Вы приезжаете, видите труп. Женщина. Удушение. Следов борьбы нет. Вещи на месте. Что вы делаете?

Стандартный вопрос. Осмотр, оцепление, протокол. Он уже отвечал на это. Но Корнеев не спрашивал про процедуру — он смотрел, как Волченко думает.

— Оцепляю, составляю протокол осмотра, вызываю эксперта, — ответил Волченко.

— Хорошо. А о чём вы подумаете — не что сделаете, а о чём подумаете, — когда увидите тело?

Ловушка. Простой выпускник ответит: «Найти убийцу». Опытный следак скажет: «Мотив». Прокурор с тридцатилетним стажем скажет другое.

Волченко стиснул зубы. Играй. Ты выпускник. Ты — зелёный щенок с корочками.

— Подумаю, кто мог это сделать. Муж, сожитель, знакомый. Ограбление исключено — вещи на месте. Значит, личные мотивы.

Нормально. Правильно. По учебнику. Но язык — проклятый, привычный, натренированный тридцатью годами — добавил:

— И ещё подумаю — нет ли похожих случаев. По способу. Удушение без следов борьбы — это не бытовое. Это контроль. Значит, жертва либо знала убийцу и доверяла, либо убийца умеет обездвижить быстро. Если первое — круг поиска узкий. Если второе — стоит проверить, не было ли аналогичных случаев.

Тишина.

Волченко понял, что сказал лишнее, — с задержкой в полсекунды. Слово «контроль» — вот что выдало. Не «контроль» как термин, он в любом учебнике. А интонация. Ход мысли. Выпускник школы не думает так — от частного к паттерну, от одного тела к серии. Выпускник школы думает: кто убил. Не — сколько раз он убивал до этого.

Ларионов смотрел на него из-под тяжёлых бровей. Кадровик перестал писать. Политрук нахмурился — не понял, но почувствовал что-то.

Корнеев — не шевельнулся. Карандаш между пальцами замер. Глаза — те же, светлые, спокойные. Но что-то в них изменилось. Что-то мелькнуло и погасло — быстро, как искра от кремня, которая не зажгла трут.

— Аналогичных случаев, — повторил Корнеев. Без вопросительной интонации. Констатация.

Волченко заставил себя пожать плечами.

— Нам преподаватель на криминалистике говорил — всегда проверяйте картотеку. Может, похожее уже было.

Ложь. Никакой преподаватель ему этого не говорил. Но фраза «нам преподаватель говорил» — щит, за которым можно спрятать что угодно. Комиссия не поедет в Иркутск проверять, что говорил или не говорил преподаватель Кравченко.

Ларионов хмыкнул.

— Преподаватель правильно говорил. — Помолчал. — Хотя для выпускника — мысль интересная.

Корнеев ничего не сказал. Записал что-то в блокнот. Убрал.

— Свободны, — сказал Ларионов. — Результат объявим через час. Ждите в коридоре.

Волченко встал, козырнул, вышел. Закрыл дверь. Прислонился к стене.

Идиот.

Тридцать лет практики — и он не смог удержать язык за зубами на первом же допросе. Не допросе — собеседовании. Привычка — анализировать, раскладывать, выстраивать цепочку — вылезла раньше, чем он её поймал. Как рефлекс. Как кашель.

Списали ли? Ларионов — да. Для него это «способный парень, хороший преподаватель». Кадровик — ему всё равно. Политрук — не понял.

Корнеев — непонятно.

Корнеев записал. Что именно — неизвестно. Может быть, «толковый выпускник». А может быть — «откуда двадцатипятилетний лейтенант знает то, что знают следователи с двадцатилетним стажем».

Ладно. Что сделано — сделано. Больше — ни одного лишнего слова. Ни одного.

Морозов ждал в коридоре.

— Ну как?

— Нормально.

— Что спрашивали?

— Кодекс, осмотр, дактилоскопию. Обычное.

— А энкавэдэшник? Корнеев? Он всем задаёт вопрос — у каждого свой.

— Спросил, о чём я подумаю на месте убийства.

Морозов присвистнул.

— Нехило. Меня спросил, кому я первому доложу — начальнику отдела или ему. Я ответил — начальнику отдела. Он кивнул. Не знаю, правильно или нет.

Час тянулся как резина. Коридор — длинный, с облупленной краской на стенах, лампочка под потолком тусклая, сорокаваттная. Лавка у стены — деревянная, отполированная штанами до блеска. Лейтенанты сидели, курили, молчали. Один грыз ноготь. Морозов чертил что-то на клочке бумаги.

Дверь открылась.

— Все — заходите.

Встали, вошли, выстроились в линию.

Ларионов зачитывал по списку. Морозов — ОБХСС, Мальцев — участковый в Бикинский район, Храпов — участковый в Вяземский, Дзюба — паспортный стол. Каждый получал бумагу с назначением, козырял и выходил.

— Волченко.

Волченко шагнул вперёд.

— Отдел уголовного розыска. Группа Сёмина.

Ларионов протянул бумагу. Волченко взял, козырнул.

— Сёмин — в третьем кабинете, — добавил Ларионов. — Если найдёшь его трезвым.

Кто-то из комиссии негромко фыркнул. Корнеев — нет. Корнеев смотрел на Волченко ровно, без выражения. Потом перевёл взгляд на свой блокнот.

Третий кабинет — конец коридора на первом этаже. Дверь приоткрыта. Волченко постучал. Тишина. Постучал громче.

— Открыто, ёлки-палки, — прохрипел голос изнутри. — Чего стучишь, не заперто.

Волченко вошёл.

Кабинет — маленький, с одним окном, заваленный бумагами. Два стола, оба — под завалами папок. На стене — карта Хабаровска, утыканная булавками. Портрет Дзержинского в рамке — криво, гвоздь торчит. На подоконнике — пустая бутылка и стакан с мутной водой.

За столом сидел человек, который не мог быть никем, кроме Сёмина.

Грузный, среднего роста, с лицом в красных прожилках, которые рассказывали историю его отношений с водкой лучше любого протокола. Глаза — маленькие, воспалённые, но цепкие. Он смотрел на Волченко снизу вверх, не вставая, и жевал баранку.

— Ты кто?

— Лейтенант Волченко. Назначен к вам в группу.

Сёмин пожевал баранку. Отряхнул крошки с живота.

— Назначен. — Помолчал. — Сядь.

Волченко сел на второй стул — шаткий, с одной короткой ножкой.

Сёмин оглядел его — как барышник на ярмарке оценивает лошадь, прикидывая, сколько она протянет.

— Школу кончил?

— Иркутскую.

— Стреляешь?

— Хорошо.

— Пьёшь?

Волченко чуть помедлил.

— Умеренно.

Сёмин хмыкнул.

— Умеренно — это как? Стакан или два?

— Зависит от повода.

Сёмин хмыкнул ещё раз — одобрительнее.

— Ладно, лейтенант. — Он встал, оказался ниже Волченко на голову. Одёрнул гимнастёрку, которая топорщилась на животе. — Значит, так. Правила простые. Первое — я старший, ты младший. Второе — рот закрыл, глаза открыл. Третье — к начальству с жалобами не бегать. Четвёртое — вопросы?

— Нет вопросов.

— Врёшь. Все новички врут. — Сёмин подошёл к подоконнику, убрал бутылку в ящик стола. — Ладно. На сегодня — устраивайся. Стол — вон тот. Тряпки в углу, протрёшь. Завтра с утра — в город. И дело есть. Посмотрю, на что ты годишься.

Он натянул фуражку, накинул шинель.

— Портфель на столе — не трогай. Там дела. Карту на стене — изучи. К утру чтоб знал город. Хотя бы центр.

Сёмин ушёл. Хлопнул дверью.

Волченко остался один. Посмотрел на карту. Хабаровск тридцать седьмого года — другой город. Улицы, которые он знал, назывались иначе. Районы, которых ещё не было. Река — та же.

Он подошёл к карте. Провёл пальцем по улицам. Карла Маркса — есть. Ленина — есть. Серышева — есть. Волочаевская, Запарина. Дальше — пустота. Леса, сопки, просёлочные дороги, отмеченные пунктиром.

Булавки. Красные — пять штук. Все — на окраинах, в районе лесополос и промзон. Волченко присмотрелся. Рядом с каждой булавкой — дата, написанная карандашом мелким почерком.

Дела Сёмина. Нераскрытые, судя по красному цвету. Пять нераскрытых дел — для одного следователя — это много.

Волченко сел за стол. Протёр его тряпкой. Положил руки на пустую столешницу.

Первый день. Первый напарник. Первый кабинет. И Корнеев с блокнотом где-то наверху.

Завтра — город. И первое дело.

Глава 4

Сёмин пришёл в восемь — с запахом вчерашней водки и свежей баранки.

Волченко уже сидел за протёртым столом и изучал карту. За два часа до прихода напарника он обошёл город от общежития до управления и обратно: прошёлся по Ленина, свернул на Карла Маркса, дошёл до набережной. Считал перекрёстки, запоминал повороты, искал ориентиры. Город ложился в голову непросто — тот же и не тот, как лицо знакомого после тяжёлой болезни.

Сёмин швырнул шинель на вешалку, сел, отломил кусок баранки, пожевал. Посмотрел на Волченко.

— Чего вылупился? Карту изучаешь?

— Как просили.

— И как?

— Центр запомнил. За Амуром — пока нет.

Сёмин хмыкнул. Отпил из жестяной кружки, которую притащил откуда-то из коридора, — чай, судя по цвету: чёрный, непрозрачный, с бурой пенкой.

— За Амуром тебе пока делать нечего. Там — Корфовская, Переяславка, Князе-Волконское. Деревня. Медведи, тигры и люди, которые хуже медведей и тигров. — Он поставил кружку на подоконник, вытер рот тыльной стороной ладони. — Пошли, познакомлю с народом. Только рот не разевай и в разговоры не лезь — сперва послушай, потом говори.

Отдел угрозыска размещался на первом этаже — пять комнат, коридор с линолеумом, который когда-то был зелёным, а стал неопределённо-серым. Канцелярия — комната с машинисткой Зиной, которая стучала по клавишам «Ундервуда» со скоростью пулемёта, а в перерывах вязала шерстяной носок, не глядя на спицы. Рядом — комната оперативников: три стола, шкаф с папками, план города на стене, утыканный кнопками. За одним столом сидел парень лет тридцати, с жёсткими чёрными волосами и азиатским разрезом глаз, — что-то писал, макая перо в чернильницу.

— Лейка, — бросил Сёмин, кивнув на парня. — Леонид Цой. Оперативник. Он тебя будет по городу водить, если я занят. Лейка — Волченко. Новый.

Цой поднял голову, кивнул коротко. Вернулся к бумагам.

— Многословный у нас Лейка, — сказал Сёмин, выходя. — Зато ноги быстрые. Если надо кого догнать — Цой догонит.

Следующая дверь — кабинет начальника отдела. Сёмин постучал, не дожидаясь ответа, вошёл.

— Фёдор Степанович, привёл новичка.

Начальник отдела — Гусев Фёдор Степанович, майор милиции — сидел за столом, большим и чистым, без единой бумажки. Грузный, с рыхлым, чисто выбритым лицом и тонкими усами, подстриженными по линейке. Китель наглажен до стрелок. Руки — белые, без мозолей, без чернильных пятен. Руки человека, который давно не писал протоколов.

Гусев посмотрел на Волченко. Взгляд — быстрый, оценивающий. Задержался на петлицах, на ботинках, на руках.

— Волченко. Иркутская школа. Читал характеристику. — Помолчал. — Средняя успеваемость. Замечаний нет. Партийность — кандидат.

Он произнёс это так, как прокуроры зачитывают обвинительное заключение: сухо, без эмоций, со скрытым подтекстом.

Встать бы и пожать руку — но Гусев не предложил. Он смотрел поверх, как смотрят на стул, который привезли, не спрашивая, нужен ли он.

— Пётр Ильич, ты его проинструктируй. И чтоб через неделю рапорты писал без ошибок.

— Сделаем.

— И ещё. — Гусев понизил голос, хотя в кабинете больше никого не было. — Корнеев вчера спрашивал про ваши висяки по Индустриальному району. Три дела. Хочет отчёт к пятнице. Сделай.

Сёмин скривился — быстро, на долю секунды, — и разгладил лицо.

— Сделаю.

Вышли. Сёмин молчал до конца коридора, потом сплюнул на линолеум.

— Отчёт к пятнице. Три дела. У меня — висяк на висяке, людей нет, а ему отчёт. — Он покосился на Волченко. — Корнеев — это куратор из НКВД. Капитан госбезопасности. Видел вчера?

— Видел.

— Ну и понял. Ходит тихо, пишет много, спрашивает мало — но если спросил, лучше ответить. И быстро. — Сёмин остановился у окна, достал кисет, свернул цигарку. — Говорят, карьерист. Рвётся наверх. Ему наши дела нужны для статистики — показать в Москву, что работа идёт.

— А на самом деле?

Сёмин затянулся. Выдохнул дым в потолок.

— А на самом деле — откуда я знаю? Я сыскарь, а не провидец. Знаю одно: от людей в таких петлицах лучше держаться подальше. Помочь не помогут, а навредить — могут. — Он ткнул пальцем в сторону лестницы. — Пошли. Покажу тебе город. Не по карте — ногами.

Они вышли на улицу. Утро стояло холодное, ясное, с белым солнцем, которое грело по-летнему, но не по-настоящему — воздух пах заморозком. Сёмин шёл не быстро и не медленно, с грузной уверенностью человека, который знает каждый камень под ногами.

— Ленина, — сказал он, кивнув на улицу. — Главная. Здесь — управление, суд, прокуратура. — Повернул направо. — Карла Маркса. Магазины, артели, столовая. — Свернул в проулок. — А вот это — Инская. Запомни. Тут — рынок, тут — барахолка, тут — все воры города обедают, выпивают и договариваются.

Инская улица — узкая, с деревянными домами, покосившимися заборами, лужами, в которых отражалось серое небо. Бабы в платках торговали картошкой с подвод; одна — семечками, отмеряя стаканом, другая — солёными огурцами из бочки, выуживая их голой рукой. Мужик чинил тележное колесо прямо на мостовой, ругался вполголоса. Мальчишка лет семи босиком бежал вдоль забора с обручем от бочки, гоня его палкой. У покосившихся ворот сидел старик в армяке и курил трубку, щурясь на солнце.

— Видишь мужика с тележкой? — Сёмин кивнул. — Васька Кривой. Вор. Три ходки. Сейчас, может, и завязал — а может, и нет. Рядом с ним — старик. Дед Никифор. В сторожах при складе. Ничего не ворует, но всё видит и за стакан расскажет кому угодно. Запомни.

Волченко запоминал. Не потому что Сёмин просил, — потому что умел. Тридцать лет допросов вырабатывают память на лица и имена, которая работает автоматически: сетчатка фиксирует, мозг раскладывает по полкам, руки не нужны.

Сёмин водил его два часа. Показал рынок, где торговали рыбой, мясом, самогоном из-под полы. Показал двор за пекарней — проходной, через него можно выйти на Карла Маркса минуя постового на углу. Показал подвал на Запарина — притон, который милиция закрывала четыре раза и который четыре раза открывался снова.

— Здесь — Марфа. — Сёмин остановился у низкой двери в цокольном этаже. — Самогонщица. Первач — крепкий, чистый, без сивухи. Если нужно кого-то разговорить — бутылка Марфиного делает чудеса. — Он помолчал. — Это не для протокола. Понял?

— Понял.

— Молодец.

Дальше по переулку, у входа в притон, Сёмин прислушался. Из подвала тянуло кислым — перегар, пот, прогорклое масло.

— Ночью здесь бывает весело. Драки — через вечер, ножевые — раз в неделю. Участковый Лёха сюда не суётся — зубы жалеет. — Сёмин докурил, бросил окурок в лужу. — Если вызовут — входи первым, я прикрою. Старая привычка: молодого вперёд, опытного — за спиной. Не обижайся.

— Не обижусь.

— Правильно. Обижаться — женское дело.

На обратном пути заглянули в столовую на Карла Маркса. Низкое помещение, три длинных стола, скамейки, запах щей и пригоревшей каши. На стене — плакат: «Советский работник — ешь горячее!» Буквы — от руки, красной гуашью. Подавальщица — полная женщина в несвежем переднике — шлёпнула перед ними тарелки: щи, каша перловая, хлеб. Чай — в гранёных стаканах, мутный.

Волченко ел и слушал. За соседним столом двое оперативников в штатском обсуждали вчерашнее дежурство — грабёж ларька на Запарина, барыга-скупщик, задержание, протокол.

— ...а он мне: «Я честный советский гражданин!» А у него в подкладке — двенадцать червонцев и золотые часы. Честный, ага. — Хохот. — Серёга его в камеру повёл, а он всю дорогу пел «Широка страна моя родная». Артист.

Сёмин жевал молча. Потом наклонился к Волченко.

— Видишь того, у окна? С газетой?

Мужчина лет пятидесяти. Пенсне, аккуратная бородка, серый пиджак — не форменный. Читал «Тихоокеанскую звезду», помешивая чай.

— Зильберман. Врач-инспектор. Ездит по больницам с проверками. — Сёмин отхлебнул чай. — Мужик странный. Тихий, ни с кем не дружит. Говорят, раньше в Харькове работал, потом что-то случилось — перевёлся сюда. Здесь — два года. В столовую ходит каждый день, всегда один.

Зильберман поднял голову, встретился взглядом с Сёминым. Кивнул сухо. Вернулся к газете.

— Здоровается, — сказал Сёмин. — И всё. За два года я от него десять слов слышал.

Волченко запомнил лицо. Пенсне, бородка, серый пиджак. Врач-инспектор, который ездит по области. В его прокурорской голове это ничего не значило — пока. Но привычка фиксировать работала сама.

К полудню они вернулись в управление. Волченко сел за стол. В кабинете стало теснее с утра — или привычнее. Шкаф с папками он успел осмотреть, пока Сёмина не было: тридцать два дела за текущий год, из них закрытых — девятнадцать. Тринадцать висяков. Для двух следователей — много. Для двух следователей, один из которых пьёт каждый вечер, — объяснимо. Для прокурора с тридцатилетним стажем, вынужденного притворяться новичком, — повод стиснуть зубы и молчать.

Сёмин положил перед ним папку.

— Три дела по Индустриальному. Почитай. Рапорт напишешь ты — мне лень, а у тебя почерк разборчивый.

Волченко открыл первую папку. Кража со склада продовольственного треста. Двести килограммов муки, сорок литров подсолнечного масла. Протокол осмотра — полстраницы, написанный почерком, который Волченко с трудом разобрал. Показания свидетелей — сторож спал, замок не взломан, ключ хранился в конторе у завскладом. Классическая внутренняя кража. В его время — камеры, отпечатки на дверной ручке, анализ графика доступа. Здесь — бумага, перо и здравый смысл.

Волченко подумал: за полдня он бы установил, кто имел доступ к ключу. Журнал выдачи, опрос контор, перекрёстный допрос завскладом и сторожа порознь — сначала одного, потом

второго, сравнить показания, найти нестыковку. Здесь не сделали ничего. Сторож спал — и следствие, судя по всему, тоже.

Он перевернул страницу. Акт осмотра. Понятые: Сидорова А.П. и Григорьев Н.И. Подписи — неуверенные, полуграмотные. Заключение: «Следы взлома не обнаружены. Предположительно хищение совершено лицом, имеющим доступ к помещению». Дата — август тридцать седьмого. Больше месяца — и ни одного движения.

Вторая папка — хулиганство на танцплощадке в парке. Драка, ножевое ранение, пострадавший в больнице, подозреваемый скрылся. Описание: «Мужчина лет тридцати, среднего роста, одет в тёмную рубаху, был пьян.» Половина мужского населения Хабаровска. Свидетели — трое, показания противоречат друг другу. Висяк.

Третья папка — тоньше остальных. Пропажа без вести. Женщина, двадцать шесть лет. Мартынова Галина Петровна. Работница швейной фабрики «Красное знамя». Не вернулась с ночной смены, пятнадцатого августа. Заявление от соседки по общежитию, поданное через три дня. Соседка: «Думала, уехала к родным». Проверка: родных в Хабаровске нет, приехала из Читы два года назад. Одинокая. Поиски — формальные, без результата.

Волченко перечитал. Ещё раз.

Женщина. Двадцать шесть. Приезжая. Без семьи. Не вернулась с ночной смены. Следов нет.

Он положил папку на стол. Руки — спокойные, ровные. Внутри — другое.

Профиль, который он составил в тетради, оставшейся в сейфе в 2024 году, говорил точно о таких жертвах. Приезжие, одинокие, без близких. Тело не найдено — или найдено через недели, за городом, в местах, куда живые не ходят.

Мартынова Галина Петровна. Пятнадцатое августа тридцать седьмого. За месяц до приезда Волченко.

Совпадение? Может быть. Пропажа без вести — не убийство. Баба могла уехать с мужиком, сбежать от долгов, утонуть в Амуре по пьяни. Тысяча объяснений. Он это знал. Но знал он и другое: в его деле — семь женщин, четыре города, двенадцать лет. Линия, которая — он подозревал это последний месяц — могла тянуться из прошлого. Из этого самого прошлого.

Сёмин вернулся из коридора с кружкой чая.

— Чего замер? Пиши рапорт.

Волченко взял перо. Обмакнул в чернильницу. Рука привычно потянулась к невидимой клавиатуре, пальцы легли не на перо, а на воздух — он поймал себя и перехватил правильно. Писать пером он не умел — в школе учили, но мышечная память принадлежала Волченко-прокурору, не Волченко-курсанту. Первые буквы легли криво, с кляксой. Он стиснул зубы и стал писать медленнее.

— Почерк у тебя, — Сёмин глянул из-за плеча, — не ахти.

— Привыкну.

— Привыкай быстрее. Рапорт с кляксами Гусев завернёт, а он и так нас не любит.

Волченко писал. Медленно, старательно, контролируя каждую букву. Рука ныла от напряжения — мелкая моторика, к которой тело не привыкло. Он списывал с протоколов, пересказывал своими словами, следил за формулировками. «Произведённой проверкой установлено...» «При осмотре обнаружено...» «Свидетель такой-то показал...» Язык 1937 года — канцелярский, тяжеловесный, с оборотами, которые в его время вымерли вместе с пишущими машинками.

За окном темнело. Сентябрьский вечер ложился быстро — сумерки не тянулись, как летом, а падали разом, будто кто-то задёргивал штору. Волченко забыл, какой бывает ночь в Хабаровске осенью. Точнее — помнил, но привык к городу, залитому электричеством, где темнота — понятие условное. Здесь — настоящая. Улица погружалась в чернильную тьму, и только редкие фонари оставляли жёлтые круги на мостовой.

К вечеру рапорт был готов. Три страницы мелким почерком, две кляксы замазаны, одна — нет. Сёмин прочитал, хмыкнул.

— Сойдёт. Для первого раза.

Он убрал рапорт в картонную обложку, сунул в шкаф. Натянул шинель.

— Всё, лейтенант. На сегодня — свободен. Завтра — в семь. Опаздывать не советую.

Сёмин ушёл. Волченко сидел за столом и смотрел на тонкое дело Мартыновой. Три листа. Заявление, протокол опроса соседки, рапорт участкового. Всё. Ни одного допроса на фабрике. Ни одной проверки маршрута. Ни одного запроса в больницы и морги.

Он протянул руку, раскрыл обложку. Перечитал заявление соседки. «Мартынова Галина Петровна, 1911 года рождения, уроженка города Читы. Проживала в общежитии швейной фабрики «Красное знамя», комната 14. Пятнадцатого августа 1937 года ушла на ночную смену в 20.00. На утро не вернулась.»

Соседка подала заявление только восемнадцатого — через три дня. Думала, уехала. Не волновалась. Никто не волновался. Женщина без семьи, без мужа, без детей. Приезжая. Пропала — и мир не заметил.

Волченко закрыл дело. Положил на место. Пальцы задержались на картонной обложке.

Мартынова Галина Петровна. Швейная фабрика «Красное знамя». Комната четырнадцать в общежитии. Приехала из Читы. Одинокая.

Наталья Сомова. Хабаровск. Горничная. Одинокая. Приехала из Благовещенска.

Ирина Лещенко. Комсомольск-на-Амуре. Работница общепита. Одинокая. Приехала из Читы.

Тот же рисунок. Те же штрихи. Приезжая, без корней, без тех, кто станет искать.

Ещё рано. Ещё слишком рано — одна пропажа ничего не доказывает. Но руки чесались, и он знал почему: не от нетерпения — от узнавания. Он видел этот рисунок раньше. Семь раз видел.

Он выключил свет и вышел из кабинета.

Коридор был пуст. Из-за двери канцелярии — тишина: Зина ушла. Из-за двери оперативников — тоже тишина. Только на втором этаже, где-то за стенами, которые отделяли управление от кабинетов НКВД, горел свет.

Корнеев работал допоздна. Волченко постоял, глядя на полоску света под потолком. Потом повернулся и вышел на крыльцо.

Ночной Хабаровск пах дымом и рекой. Фонари горели через один — жёлтые, тусклые, с мошкарой, которая билась о стекло. Где-то далеко лаяла собака. Где-то ближе — женский смех, обрывок песни, хлопнула дверь.

Волченко шёл к общежитию и думал о Мартыновой Галине Петровне. О том, что она вышла из общежития в восемь вечера — и никто даже не спросил на фабрике, дошла ли она до проходной. О том, что её никто не искал три дня. О том, что в его деле — том, которое лежало в сейфе через восемьдесят семь лет, — первой жертвой считалась Наталья Сомова, 2012 год.

А если — не первой? Если линия тянулась дальше? Если Мартынова — звено, о котором никто не знал?

Рано. Одна пропажа. Одно совпадение. Этого мало.

Пальцы сами сжались в кулак — и он разжал их. Не сейчас.

Глава 5

Телефон зазвонил в семь двенадцать.

Волченко ещё не снял шинель — только вошёл, повесил фуражку на гвоздь, сел за стол. Сёмина не было. Телефон — чёрный, эбонитовый, с диском и витым шнуром — дребезжал на столе Сёмина, подпрыгивая от вибрации.

Волченко поднял трубку.

— Угрозыск, лейтенант Волченко.

Голос в трубке — женский, сиплый, с нотками казённой скуки.

— Дежурная часть. Труп на Волочаевской, дом шесть, квартира три. Коммунальная. Мужчина, предположительно убийство. Участковый на месте. Группу направляем.

— Принял.

— Следователя Сёмина оповестили. Выезжайте.

Щёлкнуло, загудело. Волченко положил трубку. Посмотрел на часы — карманные, на цепочке, найденные в вещмешке Волченко. Семь четырнадцать.

Первый труп.

Не его первый — Волков видел сотни. Но первый здесь, в этом теле, в этом времени, в этой должности. Он поймал себя на том, что руки сами ищут кобуру — привычка. Кобура была на ремне, табельный наган — на месте. Он проверил барабан. Заряжен.

Сёмин ввалился через пять минут — запыхавшийся, красный, с запахом перегара, который он безуспешно глушил мятным леденцом.

— Слышал. Поехали.

— На чём?

— На своих двоих. Волочаевская — пятнадцать минут ходьбы. Машин на весь отдел — две, обе на выезде. Привыкай, лейтенант. Ногами будешь ходить больше, чем языком.

Они шли по утренним улицам. Мостовая блестела от ночного дождя, лужи отражали серое небо. Рабочие шли к заводским проходным — молча, сутулясь, руки в карманах. Дворник в фартуке скрёб метлой у ворот, сгоняя воду в канаву. Извозчик с бочкой проехал мимо, обрызгав сапоги. Сёмин ругнулся вслед, вытер штанину рукавом.

— Запомни, — сказал он, не оборачиваясь. — Когда идёшь на труп — не торопись. Труп не убежит. А ты должен прийти с головой, а не с одышкой.

— Волочаевская, шесть, — бормотал он на ходу. — Знаю дом. Барак, перестроенный под коммуналку. Восемь комнат, один сортир, одна кухня. Публика — рабочие с завода «Дальдизель», пара пенсионеров, бабка какая-то. Скандалы — регулярно. Участковый Лосев туда ходит как к себе домой.

Волочаевская — улица на окраине, за «Дальдизелем». Заборы, огороды, бараки. Тротуара нет — грунтовая дорога, разбитая тележными колёсами. У колодца — баба с коромыслом, два ведра, мокрые следы на земле. Собака — рыжая, лохматая, с оборванной верёвкой на шее — лежала у крыльца и не шевелилась, только глаз следил за каждым шагом.

Дом шесть — двухэтажный деревянный барак с облупленной штукатуркой и просевшей крышей. Труба — кирпичная, потрескавшаяся, дым не шёл. Двор — утоптанная земля, бельевая верёвка, поленница у стены. У крыльца стоял участковый — молодой парень в форме, бледный, с блокнотом, который он держал, не записывая ничего. Из окна второго этажа высунулась женщина в платке, посмотрела вниз, на милицию, и тут же задёрнула занавеску. Через минуту отдёрнула снова — на ладонь, не больше.

— Лосев?

— Так точно, товарищ следователь. — Парень сглотнул. — Там... на втором этаже. Комната Тихонова. Мёртвый. Сосед нашёл утром — дверь была приоткрыта.

— Сосед — кто?

— Баринов, Степан Фёдорович. Живёт через стенку. Говорит, услышал запах. Открыл — а там...

— Понял. Стой здесь, никого не пускай.

Лестница — деревянная, скрипучая, с перилами, отполированными руками до жёлтого блеска. На втором этаже — коридор, длинный, тёмный, с пятью дверями по одной стороне. Запах — кислый, тяжёлый, с металлической нотой, которую Волченко узнал мгновенно. Кровь. Не свежая — часов шесть-восемь, по запаху.

Дверь в комнату Тихонова — приоткрыта. Сёмин плечом двинул, вошёл первым. Волченко — за ним.

Комната — маленькая, метров десять. Кровать, стол, табурет, шкаф с одной створкой. Окно — зашторено, полоска света пробивалась через щель между тряпками. На стене — вырезка из журнала: женщина в купальнике, усы пририсованы химическим карандашом. Пустая бутылка на столе, два стакана, луковица на газете.

Тело — на полу, между кроватью и столом. Мужчина лет сорока, грузный, в майке и штанах. Лицо — вниз, правая рука вытянута, левая подогнута под туловище. Под головой — бурое пятно, впитавшееся в половицы. Волосы на затылке слиплись.

Сёмин присел на корточки. Посмотрел, не касаясь.

— Удар по голове. Тупой предмет. Один, может два. — Он принюхался. — Перегар. Пил. — Поднял бутылку со стола, понюхал. — Водка, казённая. Два стакана — значит, пил не один.

Волченко стоял в дверях и смотрел. Не на тело — на комнату.

Его прокурорский мозг работал на полную мощность, считывая сцену, как считывал сотни раз. Поза тела — упал лицом вниз, без попытки выставить руки, значит, удар был неожиданным. Выпивал с кем-то, повернулся спиной — получил по затылку. Классика бытового убийства. Пьянка, ссора, удар.

Но.

Два стакана на столе стояли ровно. Бутылка — у края, донышком на газете, без подтёков. Луковица — нарезана аккуратно, дольками, на обрывке «Тихоокеанской звезды». Никаких следов ссоры: стол не сдвинут, табурет на месте, стаканы не опрокинуты.

Человек, которого убили во время пьянки, не оставляет после себя аккуратный стол. Ссора — это крик, толчки, падающие предметы, опрокинутая посуда. Здесь — тишина. Порядок. Как в инсценировке.

Волченко стиснул зубы. Не говорить. Не сейчас. Смотреть. Запоминать.

Он обошёл комнату. Шкаф — открыт, вещи на месте: рубаха, штаны, фуфайка. Под кровать он заглянуть не успел: край одеяла свисал до пола, а Сёмин уже звал к телу. На подоконнике — пепельница с окурками, три штуки, все — папиросы «Казбек». В пепельнице — пепел, сухой, давнишний. Окурки — смяты, не затушены — раздавлены.

— Пётр Ильич, — сказал он. — Тихонов курил «Казбек»?

Сёмин поднял голову.

— Откуда мне знать? Я с ним чай не пил. Спроси соседей.

Волченко посмотрел на стол. Луковица нарезана ровно — кухонным ножом, широким лезвием. Нож — на столе, рядом с луковицей. Чистый. Ни пятнышка крови, ни следа борьбы.

— Орудие убийства? — спросил он.

Сёмин огляделся. Под столом — ничего. В углу — ничего. У двери — ничего.

— Нет орудия, — сказал Сёмин. — Унёс с собой.

Волченко присел рядом с телом. Внутри — привычная тишина, рабочая. Тело было объектом, не человеком. Это переключение происходило автоматически — щёлк, и эмоции отключаются, остаётся только зрение, обоняние, анализ. Тридцать лет он жил по этому переключателю.

Затылок — рана, рваная, с вдавленным краем. Круглое основание, не плоское. Не молоток — что-то цилиндрическое. Бутылка? Нет — бутылка на столе целая. Другой предмет. Кусок трубы, гиря, тяжёлый подсвечник. Трупное окоченение — есть, но неполное: шея ригидная, руки ещё поддаются. Смерть — шесть-десять часов назад. Между девятью вечера и часом ночи, если прикинуть грубо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.